

Роддестбенски Цстори



Книга перва

Н. И. Уварова
«Рождественские истории». Книга
первая. Диккенс Ч.; Лесков Н,
Серия «Рождественские истории», книга 1

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=14658274

Аннотация

Знаете ли вы, кто «изобрел Рождество»? А кто из русских классиков посвятил рождественской тематике наибольшее количество своих творений? В первой книге серии «Рождественские истории» представлены известные на весь мир «Рождественские повести» Чарльза Диккенса и самые знаменитые произведения Николая Лескова из его цикла святочных рассказов – «Зверь», «Жемчужное ожерелье», «Неразменный рубль». «Рождественские истории» – серия из 7 книг, в которых вы прочитаете наиболее значительные произведения писателей разных народов, посвященные светлому празднику Рождества Христова. В «Рождественских историях» вас ждут волшебство, чудесные перерождения героев, победы добра над злом, невероятные стечения обстоятельств, счастливые концовки и трагические финалы. Вместе с героями вы проникнитесь важностью добрых дел человеческих, задумаетесь о бескорыстии, о свете и милосердии, о божественном в человеке.

Содержание

Предисловие от составителя	5
Чарльз Диккенс	6
СКРЯГА СКРУДЖ	6
Первая строфа. Призрак Мэрлея	6
Вторая строфа. Первый из трех	16
Конец ознакомительного фрагмента.	22

**Чарльз Диккенс
Николай Лесков
Рождественские истории**

(сборник 1 ч.)

Предисловие от составителя

Книга, которую вы собираетесь почитать, вышла в серии «Рождественские истории». В семи книгах серии вы найдете наиболее значительные произведения писателей разных народов, посвященные светлому празднику Рождества Христова.

Под одной обложкой мы собрали рассказы и повести, были и притчи, написанные Андерсеном, Гоголем, Диккенсом, Гофманом и Лесковым, Горьким и Мопассаном.

В «Рождественских историях» вас ждут волшебство, чудесные перерождения героев, победы добра над злом, невероятные стечения обстоятельств, счастливые концовки и трагические финалы. Вместе с героями вы проникнитесь важностью добрых дел человеческих, задумаетесь о бескорыстии, о свете и милосердии, о божественном в человеке. На страницах этих книг вам откроются (или вспомнятся) истины, которыми захочется поделиться с родными, близкими и даже незнакомыми людьми накануне великого праздника.

Рождественский или святочный рассказ – это занимательный, но подзабытый нынче жанр классической литературы. Чего не скажешь о XIX веке, когда этими рассказами вздох зачитывалась вся Европа. Англичанин Чарльз Диккенс со своими «Рождественскими повестями» стал не только основателем жанра, но и «изобретателем Рождества». Через некоторое время в Дании внес свою лепту в чтение, расцвеченное рождественским сиянием, сказочник Ганс Христиан Андерсен – написав удивительной силы трагическую и в то же время светлую историю «Девочка со спичками».

В русской литературе рождественский рассказ успешно прижился и приобрел самобытные черты. «Русским Диккенсом» по праву называют Николая Лескова, автора целого цикла святочных рассказов. Наделяя свои произведения моральным подтекстом, элементами фантастики и веселой концовкой, Лесков все же утверждал, что *«святочный рассказ, находясь во всех его рамках, все-таки может видоизменяться и представлять любопытное разнообразие, отражая в себе и свое время, и нравы»*. В этом жанре писали Достоевский, Чехов, Куприн. И у каждого из них ощутимо то, о чем говорил Лесков.

Дабы не ограничивать околорождественское литературное многообразие лишь святочными рассказами, мы также напомним вам о великом мистике Николае Гоголе и его повести «Ночь перед Рождеством», которая, кстати, была издана на десять лет ранее Диккенсовских повестей.

Нельзя было не включить в список для рождественского чтения притчу Льва Толстого о добром сапожнике «Где любовь, там и Бог», которую в различных пересказах и интерпретациях издают во всем мире и считают одной из настольных книг к Рождеству. Наверняка вам также будет интересно, что думают о Рождестве герои Ги де Мопассана. Удивят вас необычными рождественскими сюжетами и русские литераторы (К. Станюкович, В. Желиховская, Н. Гарин-Михайловский и др.), чье творческое наследие и сегодня заслуживает читательского внимания.

Светлого вам Рождества и увлекательного чтения!

Наталья Уварова

Чарльз Диккенс СКРЯГА СКРУДЖ. БИТВА ЖИЗНИ. СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ

СКРЯГА СКРУДЖ

Святочная песнь в прозе

Первая строфа. Призрак Мэрлея

Начнем сначала: Мэрлей умер. В этом не может быть и тени сомнения. Метрическая книга подписана приходским священником, причетником и гробовщиком. Расписался в ней и Скрудж, а имя Скруджа было громко на бирже, где бы и под чем бы ему ни благоугодно было подписаться.

Дело в том, что старик Мэрлей вбит был в могилу, как осиновый кол.

Позвольте! Не подумайте, чтобы я самолично убедился в мертвенности осинового кола: я думаю, напротив, что ничего нет мертвеннее в торговле гвоздя, вколоченного в крышку гроба...

Но... разум наших предков сложился на подобиях и пословицах, и не моей нечестивой руке подобает коснуться священного кивота веков – иначе погибнет моя отчизна...

Итак, вы позволите мне повторить с достодожною выразительностью, что Мэрлей был вбит в могилу, как осиновый кол...

Спрашивается: знал ли Скрудж, что Мэрлей умер? Конечно, знал, да и как же не знал-то бы? Он и Мэрлей олицетворяли собою торговую фирму.

– Бог весть, сколько уж лет Скрудж был душеприказчиком, единственным поверенным, единственным другом и единственным провожатым мерлевского гроба. По правде, смерть друга не настолько его огорчила, чтобы он, в самый день похорон, не оказался деловым человеком и бережливым распорядителем печальной процессии.

Вот это-то слово и наводит меня на первую мою мысль, а именно, что Мэрлей без сомнения умер, и что, следовательно, если бы не умер он, в моем рассказе не было бы ничего удивительного.

Если бы мы не были убеждены, что отец Гамлета умер до начала пьесы, никто из нас не обратил бы даже и внимания на то, что господин почтенных лет прогуливается некстати, в потемках и на свежем ветерке, по городскому валу, между могил, с единственной целию – окончательно расстроить поврежденные умственные способности своего возлюбленного сына. Что касается собственно Скруджа, ему и в голову не приходило вычеркнуть из счетных книг имя своего товарища по торговле: много лет после смерти Мэрлея над входом в их общий магазин красовалась еще вывеска с надписью: «Скрудж и Мэрлей». Фирма торгового дома была всё та же: «Скрудж и Мэрлей». Случалось иногда, что некоторые господа, плохо знакомые с торговыми оборотами, называли этот дом: Скрудж-Скрудж, а иногда и просто – Мерлей; но фирма всегда готова была откликнуться одинаково на то или на другое имя.

О! Скрудж вполне изучил свой ручной жернов и крепко держал его в кулаке, милейший человек – и старый грешник: скупец напоказ, он умел и нажать, и прижать, и поскоблить, а

главное – не выпустить из рук. Неподатлив он был и крепок, как ружейный кремь, – из него же даром и искры не выбьешь без огнива; молчалив был, скрытен и отшельнически замкнут, что устрица. Душевный холод заморозил ему лицо, нащипал ему заостренный нос, наморщил щеки, сковал походку и окислил голос. Постоянный иней убелил ему голову, брови и судорожно-лукавый подбородок. Всегда и повсюду вносил он с собою собственную свою температуру – ниже нуля, леденил свою контору даже в каникулы и, ради самых святок, не возвышал сердечного термометра ни на один градус.

Внешний жар и холод не имели на Скруджа ни малейшего влияния: не согревал его летний зной, не зяб он в самую жестокую зиму; а между тем, резче его никогда не бывало осеннего ветра; никогда и никому не падали на голову так беспощадно, как он, ни снег, ни дождик; не допускал он ни ливня, ни гололедицы, ни изморози – во всем их изобилии: этого слова Скрудж не понимал.

Никто и ни разу не встречал его на улице приветливой улыбкой и словами: «Как вы поживаете, почтеннейший мистер Скрудж? Когда же вы навестите нас?» Ни один нищий не решился протянуть к нему руки за полушкой; ни один мальчишка не спросил у него: «который час?» Никто, ни мужчина, ни женщина, в течение всей жизни Скруджа не спросили у него: «как пройти туда-то?» Даже собака – вожатый уличного слепца, кажется, – и та знала Скруджа: как только его увидит, так и заведет своего хозяина либо под ворота, либо в какой-нибудь закоулок, и начнет помахивать хвостом, словно выговаривает: «Бедняжка мой хозяин! Знаешь ли, что лучше уж ослепнуть, чем сглазить добрых людей?»

Да Скруджу-то что за дело? Именно этого он и жаждал. Жаждал он пройти жизненным путем одиноко, помимо толпы, с вывеской на лбу: «па – ади – берегись!» А затем – «и прятником его не корми!», как говорят лакомки – дети.

Однажды, в лучший день в году, в сочельник, старик Скрудж сидел в своей конторе и был очень занят. Морозило; падал туман; Скруджу было слышно, как прохожие по переулку свистят себе в кулаки, отдуваются, хлопают в ладоши и отплясывают на панели трепака, чтобы согреться.

На башне Сити пробило только – еще три часа пополудни, а на дворе было уж совсем темно. Впрочем, и с утра не светало, и огни в соседних окнах контор краснели масляными пятнами на черноватом фоне густого, почти осязательного воздуха. Туман проникал в дома во все щели и замочные скважины; на открытом воздухе он до того сплотился, что, несмотря на узость переулков, противоположные дома казались какими-то призраками. Глядя на мрачные тучи, можно было подумать, что они опускаются ближе и ближе к земле с намерением – задымить огромную пивоварню.

Дверь в контору Скруджа была отворена, так что он мог постоянно следить за своим приказчиком, занятым списыванием нескольких бумаг в темной каморке – нечто вроде колодца. У Скруджа еле-еле тлел в камельке огонь, а у приказчика еще меньше: просто один уголек. Прибавить к нему он ничего не мог, потому что корзинка с угольями стояла в комнате Скруджа, и всякий раз, когда приказчик робко входил с лопаткой, Скрудж предвещал ему, что будет вынужден с ним расстаться. Вследствие сего приказчик обматывал себе шею белым «носопрятком» и пытался отогреться у свечки; но, при таком видимом отсутствии изобретательности, конечно, не достигал своей цели.

– С праздником, дядюшка, и да хранит вас Бог! – раздался веселый голос.

Голос принадлежал племяннику Скруджа, заставшему дядюшку врасплох.

– Это еще что за пустяки? – спросил Скрудж. Племянник так скоро шел к нему и так разгорелся на морозном тумане, что щеки его пылали полымем, лицо покраснелось, как вишня, глаза заискрились, и изо рта валил пар столбом.

– Как дядюшка: святки – то пустяки? – заметил племянник Скруджа. – То ли вы говорите?

– А что же? – ответил Скрудж. – Веселые святки. Да какое у тебя право – веселиться? Разоряться-то на веселье какое право?.. Ведь и так уж беден...

– Полно же, полно! – возразил племянник. – Лучше скажите мне: какое у вас право хмуриться и коптеть над цифирью?.. Ведь и так – уж богаты.

– Ба! – продолжал Скрудж, не приготовившись к ответу, и к своему «Ба!» прибавил: Всё это – глупости!

– Перестаньте же, дядюшка, хандрить.

– Поневоле захандришь с такими сумасшедшими. Веселые святки! Ну его, ваше веселье!.. И что такое ваши святки? Срочное время – платить по векселям; а у вас пожалуй, и денег-то нет... Да ведь с каждым святками вы стареете на целый год и припоминаете, что прожили еще двенадцать месяцев без прибыли. Нет! Будь моя воля, я каждого такого шального, за поздравительные побегушки, приказал бы сварить в котле, – с его же пудингом, похоронить, да уж, заодно, чтобы из могилы не убежал, проткнуть ему грудь сучком остролистника... Это – вот так!

– Дядюшка! – заговорил было племянник, – в качестве адвоката святок.

– Что, племянничек? – строго перебил его дядюшка. – Празднуй себе святки, как хочешь, а уж я-то отпраздную их по-своему.

– Отпразднуете? – повторил за ним племянник.

– Да разве так празднуют?

– Ну, и не надо!.. Тебе я желаю на новый год нового счастья, если старого мало.

– Правда: мне кой-чего не достает... Да нужды нет, что новый год ни разу еще не набил мне кармана, а всё-таки святки для меня святки.

Приказчик Скруджа невольно зарукоплескал этой речи из известного нам колодца; но, поняв всё неприличие своего поступка, бросился поправлять огонь в камельке и затушил последнюю искру.

– Если вы еще затушите, – сказал ему Скрудж, – вам придется праздновать святки на другом месте. А вам, сэр, прибавил он, обратившись к племяннику, я должен отдать полную справедливость: вы – превосходный вития и напрасно не вступаете в парламент.

– Не сердитесь, дядюшка: будет! Приходите к нам завтра обедать.

Скрудж ему ответил, чтобы он пошёл к... Право: так и сказал, всё слово выговорил, – так-таки и сказал: пошёл... (Читатель, может, если заблагорассудит, договорить слово).

– Да почему же, вскрикнул племянник? Почему?

– А почему ты женился?

– Потому что влюбился.

– Любовь! – пробормотал Скрудж, да так пробормотал, как будто бы, после слов «новый год», «любовь» было самым глупым словом в мире.

– Послушайте, дядюшка! Ведь вы и прежде никогда ко мне не заходили: причем же тут моя женитьба?

– Прощай! – сказал Скрудж.

– Я от вас ничего не желаю, ничего не прошу: отчего же нам не остаться друзьями?

– Прощай! – сказал Скрудж.

– Я истинно огорчен вашей решимостью... Между нами, кажется, ничего не было... по крайней мере, с моей стороны... хотелось мне провести с вами первый день, – ну? что ж делать! я всё-таки повеселюсь – и вам того же желаю.

– Прощай! – сказал Скрудж.

Племянник вышел из комнаты, ни полусловом не выразив своего неудовольствия; но остановился на пороге и поздравил с наступающим праздником провожавшего его приказчика, а в том, несмотря на постоянный холод, было всё-таки больше теплоты, чем в Скрудже.

Поэтому он отвечал радушно на приветствие своего поздравителя, так что Скрудж услышал его слова из своей комнаты и прошептал:

– Вот, еще дурак-то набитый! Служит у меня приказчиком; получает пятнадцать шиллингов в неделю; на руках жена и дети; а туда же – радуется празднику!.. Ну, как же не сам напрашивается в дом сумасшедших?

В это время набитый дурак, проводив племянника Скруджа, ввел за собою в контору двух новых посетителей: оба джентльмена казались крайне порядочными людьми, с благовидной наружностью, и оба при входе сняли шляпы. В руках у них были какие-то реестры и бумаги.

– Скрудж и Мэрлей, кажется? – спросил один из них с поклоном и поглядел в список. – С кем имею удовольствие говорить: с мистером Скруджем или с мистером Мэрлеем?

– Мистер Мэрлей умер семь лет тому, – ответил Скрудж. – Ровно семь лет тому умер, именно в эту самую ночь.

– Мы не сомневаемся, что великодушие покойного нашло себе достойного представителя в пережившем его компаньоне! – сказал незнакомец, предъявляя официальную бумагу, уполномочивавшую его на собрание милостыни для бедных.

Сомневаться в подлинности этой бумаги было невозможно; однако же, при досадном слове «великодушие» Скрудж нахмурил брови, покачал головой и возвратил своему посетителю свидетельство.

– В эту радостную пору года, мистер Скрудж, – заговорил посетитель, взяв перо, – было бы всего желательнее собрать посильное пособие бедным и неимущим, страдающим теперь более чем когда-нибудь: тысячи из них лишены самого необходимого в жизни; сотня тысяч не смеют и мечтать о наискромнейших удобствах.

– Разве тюрьмы уже уничтожены? – спросил Скрудж.

– Помилуйте, – отвечал незнакомец, опуская перо. – Да их теперь гораздо больше, чем было прежде...

– Так, стало быть, – продолжал Скрудж, – приюты прекратили свою деятельность?

– Извините, сэр, – возразил собеседник Скруджа, – дай-то Бог, чтобы они ее прекратили?

– Так человеколюбивый жернов всё еще мелет на основании закона?

– Да! И ему, и закону много еще дела.

– О!.. А я ведь подумал было, что какое-нибудь непредвиденное обстоятельство помешало существованию этих полезных учреждений... Искренно, искренно рад, что ошибся! – проговорить Скрудж.

– В полном убеждении, что ни тюрьмы, ни приюты не могут христиански удовлетворить физических и духовных потребностей толпы, несколько особ собрали по подписке небольшую сумму для покупки бедным, ради предстоящих праздников, куска мяса, кружки пива и пригоршни угля... На сколько вам угодно будет подписаться?

– Да... ни на сколько! – ответил Скрудж.

– Вам, вероятно, угодно сохранить аноним.

– Мне угодно, чтоб меня оставили в покое. Если вы, господа, сами спрашиваете, чего мне угодно, вот вам мой ответ. Мне и самому праздник – не радость, и не намерен я поощрять бражничанья каждого тунеядца. И без того я плачу довольно на поддержку благотворительных заведений... т. е. тюрем и приютов... пусть в них и поступают те, кому дурно в ином месте.

– Да ведь иным и поступать туда нельзя, а другим умереть легче.

– А если легче, кто же им мешает так и поступать, ради уменьшения нищенствующего народонаселения? Впрочем, извините меня – всё это для меня – темная грамота.

– Однако же вам ничего не стоит ей поучиться?

– Не мое дело! – возразил Скрудж. – Довлеет дневи злоба его. А у меня собственных дел больше, чем дней. Позвольте с вами проститься господа!..

Поняв всю бесполезность дальнейших настояний, незнакомцы удалились.

Скрудж опять уселся за работу в самодовольном расположении духа.

А туман и потемки всё густели да густели, так что по улицам засверкали уже светочи, предназначенные узводить извозчичьих коней и наставлять их на правые пути. Старая колокольня с нахмуренным колоколом, постоянно наблюдавшим из любопытства в свое готическое окно, контуру Скруджа, вдруг исчезла из вида и стала трезвонить уже в облаках четверти, получасия и часы. Мороз крепнул.

В углу двора несколько работников поправляли газопроводные трубы и разогрели огромную жаровню; кругом теснилась целая толпа мужчин и оборванных ребятишек: они с наслаждением потирали себе руки и шурились на огонь. Кран запертого фонтана обледенел так, что смотреть было противно.

Газовые лампы магазинов озаряли ветки и ягоды остролистника и бросали красноватый отблеск на бледные лица прохожих. Мясные и зеленные лавки сияли такою роскошью, представляли такое великолепное зрелище, что никому бы и в голову не пришло соединить с ними идею расчета и барыша. Лорд-мэр в своей крепости Mansion-House отдавал приказы направо и налево, как и подобает лорд-мэру в сочельник, своим пятидесяти поварам и пятидесяти ключникам. Даже бедняга портной (не далее как в прошлый понедельник подвергнувшийся денежной пене в пять шиллингов за пьянство и буянство на улице), даже и тот принялся на своем чердачке хлопотать о завтрашнем пудинге, и тощая его половина с тощим сосунком на руках отправились на бойню купить необходимый кусок говядины.

Между тем, туман становится гуще и гуще, холод живее, жестче, пронзительнее. Вот он крепко ущипнул за нос уличного мальчишку, тщедушного, обглоданного голодом, как кость собакой: владелец этого носа прикладывает свой глаз к замочной скважине скруджской конторы и начинает Христа славить, но при первых словах:

Господи, спаси вас,
Добрый господин!

Скрудж так энергично схватывает линейку, что певец, в ужасе, отбегает со всех ног, покидая замочную скважину в добычу тумана и мороза, а они тотчас же врываются в комнату... конечно, из сочувствия к Скруджу...

Наконец пора запереть контору: Скрудж угрюмо сходит со своего табурета, словно подавая молчаливый знак своему приказчику убираться скорее вон: приказчик мгновенно тушит свечу и надевает шляпу.

– Предполагаю, что завтра вы целый день останетесь дома? – спрашивает Скрудж.

– Если это вам удобно, сэр.

– Нисколько это мне неудобно, да и вообще, с вашей стороны несправедливо. Если бы за завтрашний день я удержал из вашего жалованья полкроны, я уверен – вы бы обиделись?

Приказчик слегка улыбнулся.

– А между тем, – продолжал Скрудж, – вы не сочтете в обиду для меня, что я должен вам платить за целый день даром.

Приказчик заметил, что это случается только один раз в год.

– Плохое оправдание и плохой повод – запускать руку в чужой карман каждое 25 декабря, – возразил Скрудж, застегивая пальто до самого подбородка. – Тем не менее, я полагаю, что вам нужен целый завтрашний день: постарайтесь же вознаградить меня за него послезавтра и как можно пораньше.

Приказчик обещал, и Скрудж, ворча себе под нос, вышел из дома. Контора была заперта во мгновение ока, и приказчик, скрестив оба конца «носопрята» на жилете (сюртук он считал роскошью) пустился по Корнгильской панели, поскользнувшись раз двадцать вместе с толпой мальчишек, то и дело падавших в честь сочельника. Во весь дух добежал он до своей квартиры к «Кэмден-тоуне», чтобы поспеть на жмурки¹. Скрудж уселся за скудный обед в своей обычной грошовой харчевне. Перечитав все журналы и очаровав себя, к концу вечера, просмотром своей счетной книжки, он отправился на ночевку домой. Занимал он бывшую квартиру своего покойного сотоварища; длинный ряд темных комнат в старинном, мрачном здании, на самом конце закоулка. Бог весть, как оно туда попало? Так и казалось, что смолodu оно играло в прятки с другими домами, спряталось, да потом и не нашло дороги. Ветхо оно было и печально, потому что кроме Скруджа в нем никого не жило: остальные квартиры были заняты разными конторами и бюро. Двор был до такой степени темен, что сам Скрудж, хоть и знал наизусть каждую плиту, должен был пробираться ощупью. Холод и туман крепко прижались к старой входной двери, – и вы бы подумали, что на ее пороге присел гений зимы, погруженный в грустные размышления.

Факт один, что в дверном молотке не было ничего замечательного, кроме непомерной величины; другой факт тот, что Скрудж видал этот молоток ежедневно, утром и вечером, с тех самых пор, как поселился в доме; что при всём этом Скрудж обладал так называемым воображением менее даже корпорации нотэблей и альдерменов². Не следует также забывать, что, в течение целых семи лет, значит как раз со дня смерти Мэрлея, Скрудж ни разу не подумал о покойнике. Объясните же мне, пожалуйста, если можете: каким образом случилось, что Скрудж, повертывая ключ в замке, своими глазами увидал на месте дверного молотка лицо Мэрлея? Истинно говорю вам: лицо Мэрлея! Оно не было непроницаемой тенью, как все остальные предметы на дворе, напротив: оно светилось каким-то синеватым блеском, подобно гнилому морскому раку в темном погребке. В выражении его не было ничего гневного и свирепого: Мэрлей глядел на Скруджа – как и всегда, приподняв призрак очков на призрак лба. Волосы его шевелились на голове как будто от какого-то дуновения, или от горячего пара; Мэрлей глядел во все глаза, но они были неподвижны. Это обстоятельство и синеватый цвет кожи приводили в ужас, хотя ужас Скруджа происходил не от мертвенного выражения лица, а, так сказать, от самого себя.

Пристально взглядевшись в это явление, Скрудж снова увидал один только дверной молоток. Мы бы погрешили перед совестью, если бы сказали, что Скрудж не ощутил ни дрожи, ни страшного, дотоле незнакомого ему волнения в крови. Однако он быстро повернул ключ, вошел в комнату и зажег свечу. На мгновение он остановился в нерешительности и, прежде чем запереть дверь, поглядел, нет ли за ней кого, словно боялся, что вот-вот покажется в сенях тонкий нос Мэрлея. Но за дверью не было ничего, кроме гаек и винтов, придерживавших изнутри дверной молоток. «Ба! Ба!» сказал Скрудж и сильно захлопнул дверь.

По всему дому прошел громовой гул. Каждая комната наверху и каждая бочка внизу, в винном погребе, приняли особенное участие в этом концерте эха. Скрудж был не из таковых, чтобы пугаться эха: крепко запер дверь, прошел сенями и стал подниматься на лестницу, поправив на дороге свечу.

Вы мне станете рассказывать о старинных, блаженной памяти, лестницах, по которым могла бы проехать карета в шесть лошадей рядом, или пройти процессия с одним из маленьких парламентских дел, а я вам скажу, что лестница Скруджа была нечто иное: по ней можно было провести дроги поперек, так, чтобы один конец был обращен к стене, а другой к перилам, и это ничего бы не значило, пожалуй, ещё место бы осталось. По самой этой причине

¹ Игра в жмурки составляет к Англии необходимую принадлежность сочельника и вообще всех святок.

² Т. е. представителей всевозможных цехов и гильдий.

Скруджу и показалось, что перед ним в темноте поднимается по лестнице погребальное шествие. Полдюжины уличных газовых рожков едва ли могли бы осветить достаточно сени: можете же представить себе, какое яркое сияние разливала свечка Скруджа!..

Он поднимался как ни в чем не бывало: ведь темнота ничего не стоит, а потому Скрудж и не чувствовал к ней никакого отвращения. Но прежде всего, войдя к себе, он осмотрел все комнаты, видимо, беспокоимый воспоминанием о таинственном лице.

Гостиная, спальня и кладовая оказались в порядке. Никого не было под столом, никого под диваном; комелек тлился и нагревал кастрюлю с кашницей (у Скруджа был насморк); никого не было также и в спальне под постелью, и в кладовой; никто не спрятался за висевшим на стене халатом. Вполне успокоившись, Скрудж запер дверь на замок, в два оборота, надел халат, туфли, ночной колпак, уселся перед огнем и принялся за кашницу.

Печка была сложена очень давно, вероятно, каким-нибудь голландским купцом. На изразцах были изображения, заимствованные из библии: Каины и Авели, дочери Фараона, царицы Савские, Вальтасары... а всё-таки над всеми ними, казалось, мелькало неотступное лицо Мэрлея...

– Вздор! – проговорил Скрудж и стал ходить взад и вперед по комнате.

Вдруг его глаза остановились на старом звонке, давно уже не бывшем в употреблении и проведенном для какой-то цели в нижнее жилье дома. Вообразите же изумление и ужас Скруджа, когда этот звонок начал шевелиться: сперва он только качнулся почти без звука, но вслед затем колокольчик так и залился, и ему подхватили все остальные колокольчики в доме.

Звенели они никак не более минуты, но эта минута показалась Скруджу целым часом. Колокольчики смолкли так же, как и зазвенели: все разом. Их звон сменило бряцание железа, словно кто-то внизу, в винном погребе, волочил по бочкам тяжелую цепь. Скрудж вспомнил, что все привидения волочат за собою цепи.

Погребная дверь распахнулась с ужасным стуком, и Скрудж услышал звук цепи сначала в первом жилье, потом на лестнице, и наконец, прямо против своей двери.

– Всё это суций вздор! – сказал Скрудж. – И верить не хочу!

Однако же он переменялся в лице, когда призрак вошел в комнату прямо сквозь запертую толстую дверь. Умиравший огонек вспыхнул в камельке, словно прокричал: «Я его узнаю! это призрак Мэрлея!» и затем погас. Совершенно, совершенно лицо Мэрлея: та же тонкая коса; тот же обыкновенный его жилет, те же панталоны в обтяжку: и шелковые кисточки на сапогах по-прежнему качаются в лад с косою, с полами платья и тупеем. Цепь обхватывала ему пояс и волочилась за призраком длинным хвостом. Скрудж рассмотрел, что она была составлена из кассовых ящиков, из связок ключей, железных засовов, замков, больших книг, папок и тяжелых стальных кошельков.

Тело призрака было до того прозрачно, что Скрудж, взглянув на его жилет, ясно увидел сквозь него две пуговицы, пришитые к спинке кафтана. Но хотя Скрудж припомнил, что и при жизни Мэрлея (по соседним сплетням), у него не было внутренностей, всё еще не верил своим глазам, однако же заметил всё до малейшей подробности, даже до фуляра на голове, повязанного под подбородком.

– Что это значит? – спросил он холодно и насмешливо, как и всегда. – Чего вы от меня хотите?

– Многого.

Нет никакого сомнения: голос Мэрлея.

– Кто вы такой?

– То есть, кто я был такой.

– Ну, кто же? – переспросил Скрудж, возвышая голос... – Для призрака вы большой пурист...³

– При жизни я был ваш сотоварищ Джэкоб Мэрлей.

– Можете вы... присесть?

– Могу.

– Садитесь же.

Скрудж предложил призраку присесть для испытания, в состоянии ли сидеть такое прозрачное существо, и для избежания неприятного объяснения. Призрак сел очень развязно.

– Вы в меня не верите? – заметил он.

– Не верю.

– Какого же доказательства в моей действительности требуете вы, кроме свидетельства ваших чувств?

– И сам не знаю.

– Отчего же вы не доверяете вашим чувствам?

– Оттого, что их может извратить всякая случайность, всякое расстройство желудка, и в сущности вы, может быть, ничто иное, как ломоть не переварившегося мяса, или полложечки горчицы, кусок сыра, кусочек сырого картофеля. Во всяком случае, от вас пахнет скорее можжевельником, чем можжевельником.

Скрудж вообще не жаловал острот, и теперь всего менее чувствовал охоту острить, но он пошутил для того, чтобы дать другое направление мыслям и победить свой ужас, для того, что голос призрака заставлял его трепетать до самого мозга костей.

Скрудж выносил чертовскую пытку, сидя против призрака и не смея свести взгляда с этих неподвижных стеклянных глаз. И в самом деле, было что-то ужасное в адской атмосфере, окружавшей призрака: Скрудж, разумеется, не мог ее сам ощущать, но он видел, что призрак сидел совершенно неподвижно, а между тем, его волосы, полы кафтана и кисти сапог шевелились, будто от серного пара, вылетающего из какого-то горнила.

– Видите вы эту зубочистку? – спросил Скрудж, чтобы рассеять свой страх и хоть на мгновение оторвать от себя холодный, как мрамор, взгляд призрака.

– Вижу, – ответил призрак.

– Да вы на нее даже и не смотрите!

– Это не мешает мне ее видеть.

– Так вот, стоит мне только ее проглотить – и я до конца моих дней буду окружен легионом домовых собственного моего произведения. Всё это – вздор, говорю вам... Вздор!

При этом слове призрак страшно вскрикнул и так оглушительно, так заунывно потряс цепью, что Скрудж ухватился обеими руками за стул, чтобы не упасть в обморок. Но его ужас удвоился, когда призрак вдруг сорвал с головы фуляр, и при этом нижняя его челюсть свалилась на грудь.

Скрудж упал на колени и закрыл лицо руками.

– Боже милосердный! – вскрикнул он. – Проклятое привидение!.. Зачем ты появилось терзать меня?

– Душа плотская, душа земная! – ответил призрак. – Веришь ли ты теперь в меня?

– Должен верить поневоле?.. – сказал Скрудж. – Но зачем же духи бродят по земле и зачем ко мне заходят?..

– Обязанность каждого человека, – отвечал призрак, – сообщиться душою с ближним: если он уклоняется от этого при жизни, душа его осуждена блуждать в мире после смерти... Осуждена она быть бесполезной и безучастной свидетельницей всех дольних явлений, тогда

³ Пуризм – стремление к чистоте нравов.

как при жизни она могла бы слиться с другими душами для достижения общего блага. – Призрак вскрикнул еще раз и заломил свои бесплотные руки.

– Вы скованы? – спросил дрожавший Скрудж; – но скажите, за что?

– Я ношу цепь, которую сам же сковал себе в жизни, звено за звеном, аршин за аршином; сам надел ее на себя добровольно, чтобы добровольно же носить ее всегда. Может быть, тебе нравится этот образчик?

Скрудж дрожал более и более.

– Или тебе хочется, – продолжал призрак, – узнать тяжесть и длину твоей собственной цепи? Семь лет тому, изо дня в день, она была так же длинна и тяжела, как моя; потом ты еще потрудились над нею, и теперь – славная цепь вышла...

Скрудж посмотрел кругом себя на пол, нет ли на нем самом железной цепи, сажень, эдак, в пятьдесят? Но цепи не было.

– Джэкоб, – сказал он умоляющим голосом, – старый мой друг Джэкоб Мэрлей, поговорите еще со мною, скажите мне несколько слов утешения, Джэкоб!

– Не мне утешать, – ответил призрак, – утешение приносится свыше, иными послами, и к иным людям, чем ты, Эвенеэр Скрудж! Я тебе и сказать не могу всего, что бы мне хотелось сказать: я обречен блуждать без отдыха и нигде не останавливаться. Ты знаешь, что на земле моя душа не преступала пределов нашей конторы, и вот – почему мне суждено теперь сделать еще много тяжелых путешествий!

У Скруджа была привычка, когда он задумывался, засовывать руки в карман панталон: так поступил он и теперь при последних словах призрака, но с колен не встал.

– Вы, должно быть, порядком запоздали? – заметил он, как истый деловой человек, однако же, с покорностью и с почтительностью.

– Запоздал! – повторил призрак.

– Семь лет умер, – рассуждал Скрудж, – и всё время в дороге...

– Всё время! – сказал призрак... – и ни отдыха, ни покоя, и непрерывная пытка угрызения совести...

– Быстро вы путешествуете? – спросил Скрудж.

– На крыльях ветра, – ответил призрак.

– Должно быть, много стран видели! – продолжал Скрудж. При этих словах призрак вскрикнул в третий раз и так загредел цепью, что дозор имел бы полное право представить его в суд за ночной шум.

– О! горе мне, скованному узнику! – простонал он. – Горе мне за то, что я забыл обязанность каждого человека – служить обществу, великому делу человечества, предначертанному верховным существом, забыл, что поздним сожалением и раскаянием не искупил утраченного случая к пользе и благу ближнего! И вот мой грех, вот мой грех!

– Однако же вы всегда были человеком исполнительным, умели отлично вести дела... – пробормотал Скрудж, начиная применять слова призрака к самому себе.

– Дела! – крикнул призрак, снова заламывая себе руки, – моим делом было всё человечество; моим делом было общее благо, человеколюбие, милосердие, благодушие и снисходительность: вот какие были у меня дела! А торговые обороты – одна капля в безбрежном океане моих былых дел!

Он поднял цепь во всю длину руки, словно указывал на причину своих бесплодных сожалений, и снова бросил ее на пол.

– Более всего я страдаю, – продолжал призрак, – именно в эти последние дни года. Зачем проходил я тогда мимо толпы со взорами, склоненными долу на блага земные, и не возносил их горе, к благодатной, путеводной звезде волхвов! Быть может, ее свет привел бы и меня также к какой-нибудь бедной обители...

Скрудж очень испугался подобного оборота речи и задрожал всем телом.

– Слушай! – крикнул ему призрак, – назначенный мне срок скоро должен кончиться...

– Слушаю, – сказал Скрудж, – только прошу вас пощадить меня, Джекоб: нельзя ли поменьше риторики...

– Не могу объяснить тебе – почему я тебе явился в теперешнем моем образе?.. Мне столько и столько раз приходилось сидеть рядом с тобою незримо.

Это признание было не слишком из приятных: Скрудж содрогнулся и вытер на лбу холодный пот.

– Да, еще это наказание – не самое тяжелое... Я послан известить тебя, что тебе предстоит удобный случай и надежда избежать моей участи. Слушай же, Эвенеэр!..

– Вы всегда были ко мне благосклонны и дружелюбны, – сказал Скрудж. – Благодарю вас.

– Тебя посетят три духа, – прибавил призрак. Лицо Скруджа мгновенно подернулось такою же бледностью, как у самого призрака.

– Про этот-то удобный случай и про эту надежду говорили мне вы, Джэкоб? – спросил он ослабевшим голосом.

– Да.

– Я... я... полагаю, что лучше бы без них как-нибудь?

– Без их посещения для тебя нет надежды избежать моей участи. Ожидай «первого» завтра, ровно в час.

– Не могу ли я принять всех их трех разом, Джэкоб? – заметил вкрадчиво Скрудж.

– Ожидай второго в том же часу на следующую ночь, а третьего – на третью, как только пробьет последний удар двенадцати часов. Меня не надейся увидеть еще раз; но ради собственной выгоды памятуй о том, что было между нами.

После этих слов он взял со стола и повязал по-прежнему свой набородник. Скрудж поднял глаза и увидел, что его таинственный посетитель стоит перед ним, весь обмотанный цепью.

Привидение попятилось к опускному окну, и с каждым его шагом окно поднималось выше и выше, и наконец поднялось совсем.

Тогда призрак поманил Скруджа к себе, и тот повиновался. На расстоянии последних двух шагов тень Мэрлея подняла руку, не допуская подходить ближе. Скрудж остановился, но уже не из повиновения, а из изумления и страха: в воздухе пронесся какой-то глухой шум и раздались несвязные звуки: вопли отчаяния, тоскливые жалобы, стоны, вырванные из груди раскаянием и угрызением совести.

Призрак прислушивался к ним мгновение, а потом присоединил свой голос к общему хору и исчез в бледном сумраке ночи.

С лихорадочным любопытством подошел Скрудж к окну и заглянул в него.

Воздух был наполнен блуждавшими и стонавшими призраками. Каждый, подобно тени Мэрлея, влачил за собою цепь; некоторые (может быть, секретари министров с одинаковыми политическими убеждениями) были скованы попарно; свободных не было ни одного. Некоторых при жизни Скрудж знал лично. Наказание всех их состояло, очевидно, в том, что они силились, хотя уже и поздно, вмешаться в людские дела и сделать кому-либо добро; но они утратили эту возможность навсегда.

Сами ли слились эти фантастические существа с туманом, туман ли накрыл их своею тенью? Скрудж ничего не знал; только они исчезли, голоса их смолкли разом, и ночь опять стала такой, какой была при возвращении Скруджа домой.

Он закрыл окно и тщательно осмотрел входную дверь: она была заперта в два оборота и замки были целы. Изнеможенный, усталый Скрудж бросился, не раздеваясь, в постель и тотчас же заснул...

Вторая строфа. Первый из трех

Когда Скрудж проснулся, было так темно, что он еле-еле разглядел, где прозрачное окно, где непрозрачные стены комнаты... Тщетно усиливался он напрягать свои хорьковые глаза – до тех пор, пока часы соседней церкви не пробили четырех четвертей, Скрудж прислушивался и всё-таки часа не узнал.

К великому его изумлению тяжелый колокол пробил сначала шесть, а потом семь, – а потом – восемь, и так – до двенадцати, затем остановился.

Полночь! Он уже спал два часа, стало быть?.. Часы что ли неверно бьют? Не попала ли в волосок льдинка? Полночь!

Скрудж прижал машинку своих часов с репетицией, чтобы проверить колокольные часы, по его мнению, звонившие вздор. Скоренькие часишки ударили двенадцать раз и смолкли.

– Как так! Не может быть, – сказал Скрудж, – чтобы я спал целый день и проспал еще ночь. Не может быть, чтобы солнце повернулось с полуночи на полдень!

Эта идея расшевелила его до того, что он соскочил с постели и подошел к окну. Пришлось ему вытереть рукавом халата стекло, чтобы разглядеть что-нибудь. Увидел он только, что очень холодно, что туман не снимался, что разные господа проходили взад и вперед, проходили и шумели, как и подобает, когда ночь и мороз прогонят день и завладеют миром. Скруджу было это большое облегчение, ибо без этого, что были бы все заемные трехдневные обязательства, подписанные на имя мистера Эвенеэра Скруджа? Были бы они только залогами на Гудзонские туманы.

Скрудж не понял бы трех часовых четвертей, не понял бы и четвертой, если бы, зазвонивши, она не напомнила ему об ожидаемом им духовном посещении.

Лёг он опять на постель и решил не спать до тех пор, пока на колокольне не прозвонит последняя четверть: заснуть значило бы поглотить месяц. Решимость Скруджа была, по крайнему нашему убеждению, самая разумная. Эта четверть часа показалась ему такою долгою, что он засыпал несколько раз, сам того не замечая и не слыша, как били часы. Наконец он услышал:

«Динь! Дон!»

– «Четверть!» счел Скрудж.

«Динь! Дон!»

– «Полчаса» сказал Скрудж.

«Динь! Дон!»

– «Три четверти!» сказал Скрудж.

«Динь! Дон!»

– Час! – крикнул восторжествовавший Скрудж, – и никого! – Это говорил он пока били часы, но не затих еще последний удар глухой, тоскливый, похоронный – комната облилась ярким светом и кто-то отдернул постельные занавески.

Но не те, что были за спиной, не те, что были в ногах, а те, что были – лицом к лицу. Занавески были отдернуты, Скрудж приподнялся – и лицом к лицу предстал перед ним таинственный посетитель, отдернувший занавески.

Фигура была странная... Похожа на ребенка и на старика, что-то сверхъестественно среднее, что-то такое, получившее способность скрывать свой рост и прикидываться ребенком. Волосы у него обвивались около шеи и падали на спину, седые будто и в самом деле от старости, а на лице не было ни морщинки; кожа была свежа, как у ребёнка, а длинные руки красовались своими мускулистыми кистями, – признак необыкновенной силы. Голые ноги

и икры были у него так развиты, как будто бы легко и бесчувственно нес он на них всё бремя жизни. На нем была белая-белая туника, перетянутая ярким блестящим поясом.

В руках он держал зеленую ветвь остролистника, только что срезанного и, вероятно, ради противоречия этой эмблеме зимы, был усеян всевозможными летними цветами. Но что еще было страннее в его одежде, это то, что поверх его головы сверкало сияние, озарявшее, вероятно, в минуты радости и горя все мгновения жизни. Свет этот выходил, как я уже сказал, из его головы, но он мог его затушить, когда хотел, большой воронкой, или чем-то вроде нее, положим, – воронкой, прижатой подмышкой.

Тем не менее, этот инструмент, какой бы он ни был, не привлек на себя исключительного внимания Скруджа. Занял его, собственно говоря, пояс; то там блеснет, то здесь, то потухнет, и вся физиономия его обладателя, так или не так, примет соответственно выражение. То – существо однорукое, то – одноногое, то – на двадцати ногах без головы, то – голова без тела: члены исчезали, не позволяя видеть перемены в своих причудливых очерках. А потом он снова становился самим собою, больше чем когда-нибудь.

– Милостивый государь! – спросил Скрудж, – вы ли, предсказанный мне дух?

– Я.

Голос был так сладок, так приятен, и так тих, как будто шептал не на ухо Скруджу, а где-то далеко.

– Да кто же вы? – спросил Скрудж.

– Прошлый праздник.

– Прошлый? А давно ли? – продолжал Скрудж, вглядываясь в рост карлика.

– Последний.

Если бы кто-нибудь спросил Скруджа – почему? Он бы не ответил, а всё-таки сгорал желанием – нахлобучить на своего посетителя известную уже читателям воронку и попросил об этом духа.

– Вот еще! – крикнул призрак. – Не угодно ли вам затушить мирскими руками небесное пламя? Вот еще!.. Да не вы ли один из тех, что надели на меня эту шапку из одного черствого самолюбия и заставили нести ее веки и веки?...

Скрудж отрекся почтительно от всякого намерения оскорбить или «принакрыть» какого бы то ни было духа. Потом он осмелился его спросить: что ему угодно?

– Вашего счастья, – ответил призрак.

Скрудж поблагодарил, но никак не мог удержаться от мысли, что покойная ночь гораздо бы скорее достигла предложенной цели. Вероятно, дух поймал его мысль налету, потому что немедленно сказал:

– Вашего счастья, т. е. вашего спасения... так берегитесь же...

При этих словах он протянул свою крепкую руку и тихонько взял под руку Скруджа.

– Встаньте и идите за мной! – сказал он.

Напрасно Скрудж проповедовал бы, что время года и час не соответствовали пешеходной прогулке, что на постели ему гораздо теплее, чем на дворе, что термометр его стоит гораздо ниже нуля, что он слишком легко одет, т. е. в туфлях, в халате и в ночном колпаке, да к тому же у него и насморк, – напрасна была бы вся эта проповедь: не было никакой возможности освободиться от пожатия этой женственно мягкой руки, Скрудж встал, но, заметя, что дух направляется к окошку, ухватился за полы его одежды, умолая.

– Вы подумайте: я ведь смертный – упасть могу.

– Позвольте только прикоснуться сюда, – сказал дух, положив ему руку на сердце: – вам придется вынести много еще пыток. – Не успел он договорить, как они пролетели сквозь стены и очутились на поле. Города как не бывало. Разом исчезли и потьмы и туман, потому что день был зимний и снег забелел.

– Господи! – сказал Скрудж, всплеснув руками, и всматриваясь. – Да ведь здесь я вырос!

Дух посмотрел на него благосклонно. Тихое, мгновенное его прикосновение пробудило в старике былую чувствительность: пахнуло на него чем-то прошлым, чем-то таким ароматным, что так и повеяло воспоминаниями о прежних надеждах, прежних радостях и прежних заботах, давным-давно забытых!

– У вас губы дрожат! – сказал призрак. – И что это у вас на щеке?

– Ничего, – прошептал Скрудж странно взволнованным голосом: – не страх мне вырвал щеку, это не признак его а просто – ямочка. Ведите меня, куда надо.

– А дорогу вы знаете? – спросил дух.

– Я-то! – крикнул Скрудж. – Да я найду ее с завязанными глазами.

– Странно, в таком случае, что вы не забыли в течение стольких лет! – заметил дух. – Пойдемте.

Пошли по дороге; Скрудж узнавал каждые ворота, каждую вереву, каждое дерево, до тех пор, пока перед ними не показался в отдалении городок с мостом, собором и извилистой речкой. Несколько длинногривых пони, запряженных в тележки, протрусили мимо. На пони сидели мальчишки и весело переключались.

– Это ведь только тени прошлого, – сказал призрак, – они не видят нас.

Веселые путешественники проезжали мимо, и Скрудж узнавал каждого из них и называл по имени.

И почему он был так доволен их видеть? И почему его взгляд, постоянно безжизненный, вдруг оживился?

И почему его сердце задрожало при виде этих проезжих? И почему был он так счастлив, когда услышал обоюдные поздравления с наступающим праздником на пути ко всякому перекрестку? И разве мог быть для Скруджа веселый рождественский праздник? Для него веселый рождественский праздник был – парадокс. Ничего он ему никогда не принес.

– Школа еще не совсем опустела: там остался еще одинокий ребенок, забытый всеми товарищами! – сказал дух.

– Узнаю, – подтвердил Скрудж и вздохнул глубоко. Свернули они с большой дороги на проселок, коротко знакомый Скруджу, и приблизились к строению, из темного кирпича с флюгерком наверху.

Над крышей висел колокол; дом был старинный, надворные строения пустовали: стены их просырели и обомшилились, стекла в окнах были перебиты, двери соскочили с петель. В конюшнях чванливо кудахтали куры; сараи и амбары поросли травой. И внутри не сохранило это здание своего бывшего вида, потому что кто бы ни вступил в темные сени, кто бы ни взглянул в раскрытые двери на длинный ряд отворенных комнат, увидал бы, как они обеднели, обветшали, как они холодны и как одиночеством. Пахло холодной, нагою тюрьмой или рабочим домом, где каждый день выбивались из сил и всё-таки голодали. Прошли дух и Скрудж в заднюю сенную дверь и увидали длинную, печальную залу с сосновыми школьными скамьями и пульпитрами, выровненными в ряд. У одной из пульпитр, пригретый слабым печным огоньком, сидел одинокий ребенок и что-то читал. Скрудж сел на скамейку и заплакал, узнав самого себя, постоянно забытого и покинутого.

Не было ни одного отзвука, заглохшего в доме, ни одного писка мышей, дравшихся за обоями, ни одной полузамороженной капли, падавшей на задворке из водомета, ни одного шелеста ветра в обезлиственных ветвях тощей тополи, ни одного скрипа дверей опустелого магазина, ни малейшего треска огонька в камельке, – ничего, ничего, что бы не прозвучало в сердце Скруджа, что не выдавило бы у него из глаз обильного ручья слез.

Дух тронул его за руку и указал ему на ребенка, на этого «самого себя» Скруджа, углубленного в чтение.

– Бедный ребенок! – сказал Скрудж и опять заплакал. – Хотелось бы мне, – прошептал он, засунув руку в карман, оглядываясь и отирая рукавом глаза, – хотелось бы мне, да поздно...

– Что такое поздно? – спросил дух.

– Ничего, – ответил Скрудж, – ничего. Вспомнил я о мальчике... Вчера у меня Христа славил... Хотелось бы мне ему дать что-нибудь, вот и всё...

Раздумчиво улыбнулся призрак, махнул Скруджу рукой, чтобы замолчал, и проговорил:

– Посмотрим на новый праздник.

Скрудж увидел самого себя уже подростком в той же зале, только побольше темной и побольше закоптелой. Подоконники растрескались; перелопались стекла; с потолка свалилась кучами известка и оголила матицу ⁴. Но – как это всё воочию совершилось, Скрудж не понял, точно так же, как и вы, читатели.

Но понял он вот что: Что всё это было, что из тогдашних школьников остался он в этой зале один, как и прежде, а все остальные, как и прежде, убрались восвояси, повеселиться на святках.

Читать он уже не читал, но шагал по знакомой зале взад и вперед в полном отчаянии.

Скрудж посмотрел на юного духа, тоскливо покачал головой и тоскливо глянул на сенную дверь. Дверь распахнулась настежь и в нее влетела стрелкой маленькая девочка. Обвила руками кругом шеи Скруджа и стала целовать, лепеча:

– Голубчик, голубчик мой братец, за тобой приехала? – говорила она, хлопая в ладоши маленькими своими ручонками, и покатываясь со смеху. – Домой! домой! домой!

– Домой, моя малютка Фанни? – спросил мальчик.

– Домой! – повторила она, просясь всем лицом, – и навсегда, навсегда!.. Папенька теперь такой добрый, что в доме рай. Как-то вечером, на ночь, стал он говорить со мной так нежно, что я уже не побоялась спросить у него: нельзя ли взять тебя на праздник домой. Отвечал: «можно». И повозку со мною прислал. Неужели ты уж большой? – продолжала она, поглядев на Скруджа во все глаза... – Стало быть, ты сюда никогда уж не вернешься?... На святках мы с тобой повеселимся.

– Да ведь, кажется, и ты уже женщина, малюточка Фанни? – крикнул юноша.

Опять Фанни захлопала в ладоши и опять покатила со смеху. Потом хотела погладить Скруджа по голове, но по малости своего роста не достала, еще раз расхохоталась и приподнялась на цыпочки – поцеловать. Тогда, во имя этого ребячески-откровенного поцелуя, потащила его к двери, и пошел он за ней без малейшего сожаления о школе.

В сенях они услышали страшный голос:

– Выкинуть чемодан мистера Скруджа!.. скорей!..

Вслед за этим голосом появился и сам его обладатель, наставник школьника, – потряс ему руку так, что привел его в неописанный трепет, ради разлуки. Затем и братца и сестрицу пригласил он в отжившую свой век залу, до того низкую, что можно было принять ее за погреб, и до того холодную, что в простенках ее окон мерзли и земные и небесные глобусы. Пригласил и попотчевал молодую чету таким легоньким винцом, и таким тяжелым пирожком, словом, такими лакомствами, что когда выслал невзрачного своего служителя – угостить чем-нибудь ожидавшегося почтальона, – почтальон отвечал, что если намеренным винцом, уж лучше бы не подносил. Тем временем чемодан мистера Скруджа был укреплен на верх повозки; радостно простились дети с воспитателем и весело пронеслись по садовой просеке, вспенивая колесами экипажа и снег, и иней, обсыпавший хмурые листья деревьев.

⁴ Балка (бревно), располагающаяся посередине дома и являющаяся основой крепления крыши и всего дома.

– Была в ней искра Божьего огонька, – сказал призрак, – и задуть ее можно было одним дуновением, да сердце-то у нее билось горячо...

– Правда ваша, – отвечал Скрудж, – и оборони Бог мне с вами об этом спорить.

– Ведь она, кажется, была замужем, – спросил дух, – и умерла, оставив по себе двух детей?

– Одного, – отвечал Скрудж.

– Ваша правда, – продолжал дух, – одного – вашего племянника.

Скруджу стало как-то неловко, и отвечал он коротко:

– Да.

Несмотря на то, что Скрудж только что выехал из школы, очутился он на многолюдных улицах какого-то города: словно тени пронеслись перед ним, не то люди, не то тележки, не то кареты, оспаривавшие друг у друга мостовые, и перекликались на мостовых и шум, и всевозможные возгласы настоящего города. Было ясно, по ярким выставкам товаров в лавчонках и магазинах, что и там празднуют канун Рождества Христова; как ни темен был вечер, улицы осветились.

Дух остановился у двери какого-то магазинчика и спросил у Скруджа: узнает ли?

– Это что за вопрос?.. – сказал Скрудж. – Ведь здесь я учился, здесь приказчиком был.

Оба вошли. При виде старичка в уэльском парике, засевшего за конторкой так высоко, что будь в этом джентльмене еще хоть два дюйма росту, он бы наверное стукнулся теменем о потолок, взволнованный Скрудж крикнул:

– Да ведь это сам Феццивиг воскрес, и да простит старика Всевышний!

Старик положил перо и взглянул на часы: было семь. Весело потер он руки, обдернул широкий камзол, засмеялся с головы до пяток и провозгласил:

– Эвенезер! Дикк!

Былой Скрудж вошел в сопровождении своего бывшего товарища.

– Да это, наверное, Дикк Уиллькинс! – заметил Скрудж призраку. – Да смилуется надо мною Бог: это он, когда-то любовно мне преданный!

– Ну же, ну, ребята! – кричал Феццивиг. – Что теперь за работа?... Сочельник, Дикк! Сочельник, Эвенезер! Живо – ставни на запор!

Вы никогда и не поверите, как кинулись оба молодца на улицу со всех ног: раз-два-три – и дело было кончено!.. Только запыхались, как скакуны...

– Го-го! – кричал Феццивиг, – долой всё отсюда, ребята! Простору, простору! Мигом, Дикк, мигом, Эвенезер!

Долой!.. да они бы синя пороха не оставили в глазах у самого Феццивига... Всё подъемное исчезло во мгновение ока; пол был выметен и вспрыснут; лампы зажжены; в камелек брошен целый ворох угля: из магазина вышла бальная зала, такая же теплая, сухая и освещенная, какой и подобает ей быть для святочного вечера. Появился вдруг и скрипач со своими нотами, вскарабкался на кафедру и стал пилить по струнам – хоть за бока держись!.. Появилась и леди Феццивиг – олицетворенная улыбка во весь рот; появились и три боготворимо сияющие миссы Феццивиг, а за ними и шестеро несчастливцев, пронзенных стрелами девственных очей в самое сердце, а за ними вся молодежь, прислуживавшая в доме; служанка со своим двоюродным братцем булочником; кухарка с неизменным другом своего брата; голодный, по подозрению, что его не кормит хозяин, сосед приказчик с девушкой, которую его хозяйка достоверно теребила за уши... Всё это вышло, всё заплясало и совершенно сбило с толку старую чету Феццивигов, неустанно путая фигуры и теряя каданс... Наконец, старику пришлось хлопнуть в ладоши и крикнуть скрипачу: «Баста!» Артист утешился, опрокинув себе в горло заранее приготовленный жбан пива, и перестал пилить. Только немедленно же принялся опять за свое, с прежним, нет – не с прежним, с новым жаром, словно ему вскочил на плечи еще такой же ярый музыкант.

Потом еще поплясали, вынули фанты, поплясали еще опять; потом отведали сочельнического пирога и шипучего лимонада, да чуть не полбыка, да пирожков с мясным фаршем, да холодного бульона, да многое множество пива... Но наибольший восторг после бульона и жаркого произвел скрипач (между нами, – такой чертовской плутяга, что ни мне, ни вам не провести его), когда запил: «Sir Robert de Coverly»⁵. Тогда-то вышел на средину старик Феццивиг с мистрисс Феццивиг. Оба они стали в главе танцующих. Вот так уж была им работа: вести и направлять двадцать игр, или двадцать четыре пары, а шутить с ними было нелегко!.. Но если бы пар было больше вдвое, или даже и вчетверо, старик Феццивиг и тогда бы не отказался пробить стены лбом, да и мистрисс Феццивиг также... Потому: заключала в себе она достойную, истинно полную половину мистера Феццивиги... Если это не похвала, приищите что-нибудь другое: я, со своей стороны, отказываюсь. Икры господина Феццивиги, – да простят нам это сравнение, – были решительно фазисами месяца; появлялись, исчезали, появлялись снова... И, когда старая чета Феццивигов окончательно исполнила «авансе-рекюле; руки дамам; балане салюе; тир-бушон; нитка в нитку и по местам», Феццивиг так легко выделял антраша, как будто бы перебирал ногами на флажолете, а потом вдруг выпрямлялся на тех же ногах, как I...

⁵ Т. е. «Сэр Роберт де Коверлей»; национальная песня, едва ли переводимая как – положим – наша «камаринская».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.